



С. К. МАКОВСКИЙ

Максимилиан Волошин

В Волошине была особая ласковость, какое-то очень вкрадчивое благожелательство, он всегда готов был прийти другому на выручку, и это подкупало. Щедр был духовно и восторженно впечатлителен, иногда и трогательно заботлив. А физически — совсем лесовик из гриммовской сказки. Сильный, массивный (весил семь пудов), хоть невысок ростом, — он отличался на вид цветущим, пышущим здоровьем, и не жирен, а необыкновенно плотен и вместе легок на ходу: упругий мяч. Это делало его, пожалуй, несколько «неуместным» рядом с другими жрецами муз в редакции «Аполлона», большею частью худыми, телесно недоразвитыми. Стесняла его немного эта массивность, и пользовался он всяким случаем, как бы помочь слабейшему. Любил, между прочим, лечить наложением рук; уверял, что из него исходят флюиды. От его мощного, полнокровного тела и впрямь веяло каким-то приятным жаром.

И ни с кем не говорилось так «по душе». Он был отзывчив на всё необычайно и выслушивал собеседника не для того, чтобы спорить, а наоборот — увлекательно развивал высказанную мысль и попутно строил соблазнительные парадоксы, заражая своей кипучей, бесстрашной фантазией. Душа у него была поистине вселенская, причастная всем векам и народам. И начитан он был универсально, хоть и по-дилетантски, «на живую нитку» была сшита его эрудиция. Не чета Вячеславу Иванову, например, знавшему всё, что знал, до корня.

К русской литературе он долго никак не умел пристать. Несмотря на огромную трудоспособность и страсть к писательству, сам писал сравнительно мало, больше переводил французских новоявленных гениев... <...>

Среди сотрудников «Аполлона» он оставался чужаком по всему складу мышления, по своему самосознанию и по универсализму художнических и умозрительных пристрастий. В Париже — где прожил

он довольно долго до нашей «первой» революции, занимаясь живописью, — он офранцузился не на шутку, примкнув к монпарнасской богеме (хотя очень плохо владел французским языком, — так никогда и не научился). В то же время вращался он и среди тогдашних эмигрантов социалистов-революционеров и даже сотрудничал в «Красном знамени»¹ Александра Амфитеатрова, где появлялись его стихи: «Принцесса де Ламбаль», «Ангел мщенья» и др. О его революционных настроениях достаточно свидетельствуют хотя бы эти строки из «Ангела мщенья», написанные в 1906 году: Народу русскому: Я скорбный Ангел мщенья!.. <...>

Но поэзия Волошина в то время не производила особого впечатления, хоть он и удивлял уже техническим мастерством. Недоставало его стихам той силы внушения, которая не достигается никакими внешними приемами. От их изысканной нарядности веяло холодом... По крайней мере, таковы почти все стихи (за 1900–1910 гг.), вошедшие в единственный дореволюционный его сборник, изданный «Грифом» под заглавием «Стихотворения» (если не считать тонкой тетради, выпущенной московским издательством «Зёрна» в 1915 г.: «Anno mundi ardentis», стихи о войне).

В молодых «Стихотворениях» Волошина много романтизма и археологической эрудиции... <...>

Но всё это не тот еще Волошин, которого будет помнить Россия... Нужен был «Октябрь», нужны были трус и глад и мор революции, воспринятые Волошиным со щемящей болью и мистическим смирением (но не соблазнившие его социальными иллюзиями, как столько писателей), нужно было «потерять Россию», ту благословенную, чудотворную Россию, которую «Октябрь» втоптывал в кровь и грязь, чтобы он обрел ее в себе... И вдруг забили в нем какие-то изглуби русские истоки: он вырос в эти революционные годы, проживая в своем возлюбленном киммерийском Крыму, в Коктебеле, вырос в крупного поэта.

Об этом хочется сказать теперь, вспоминая времена давно минувшие. Потому что, как ни странно, значительность Волошина-поэта до сих пор мало ощущается нами, хоть и популярны такие произведения из его последних, как «Китеж», «Святая Русь», «Demetrius imperator» (кстати сказать, далеко не лучшие, несколько назойливо эффектные).

Как раз эти стихи и другие, только что написанные тогда, я слышал от самого Волошина, летом 1918 года в Ялте, куда чуть не пешком из Коктебеля прибрел он навестить друзей. Прямо с дороги, весь запыленный, потный, со всклокоченными рыжеватыми кудрями и давно не стриженной бородой, он читал мне «Протопопа Аввакума» целый час (в поэме 700 строк), наизусть, разумеется, — память его не давала осечек, — читал, волнуясь, произнося старые, тяжелые, плотные рус-

ские слова Аввакумовой иеремиады с чувством восторженного полу-иностранца, открывшего внезапно Русь семнадцатого века.

В жилах самого Максимилиана Александровича текла и русская, и немецкая кровь. Его мать, Елена Оттобальдовна, с которой он прожил душа в душу почти весь свой век, была немецкого корня (ее прозвали «Пра» в окружении Волошина — от «Праматерь»). Чудачка, как и он, щеголявший в Коктебеле длинной парусиновой рубашкой, сандалиями и веночком из полыни на буйных кудрях, — Елена Оттобальдовна носила, когда принаряжалась, шитый серебром кафтан, синие шаровары по щиколотку и казанские сапоги с голенищами. Пусть характером эта мужественно-волевая женщина с ястребиным профилем являлась полной противоположностью ему, женственно-мягкому и чувствительному Максиму, — мечтательность, отвлеченный романтизм, характерные для него, тоже ведь черты не русские.

Кто был отец его? Максимилиан Александрович никогда не говорил о нем. Теперь, кого ни спросишь, не знает. Очень русский человек, несомненно. Но что передал он сыну? Откуда эта неестественная душевная и физическая застенчивость Макса, у которого недаром ведь была слава вечного девственника, хоть он и отрицал это? Еще в первой молодости он женился², и тотчас почти — с женой разрыв. Я познакомился как-то в Москве (по поводу одной выставки) с этой неудавшейся подругой жизни Волошина — Сабашниковой (из просвещенной московской купеческой семьи). Разойдясь с Волошиным, она сохранила с ним товарищескую связь. Злые языки утверждали, что она никогда и не была ему женой. Я спросил ее про мужа с полушутливой откровенностью:

— Скажите, кто он и почему так странны его дружеские приключения с женщинами?

Подумав, она ответила с какой-то полуобожженной усмешкой:

— Макс? Он недоовоплощенный...

«Француз культурой, русский душой и словом, германец — духом и кровью», — определяет его Марина Цветаева. Пожалуй, что так. Русская душа — германский дух. Приложимо это, впрочем, не к одному Волошину из наших писателей начала века, не говоря уж о предшественниках — девятнадцатого. <...>

Но русское гётеанство и духовный германизм усложнились в двадцатом веке возродившимся языческим всебожием и даже пандемонизмом. Отсюда Рудольф Штейнер и штейнеровцы: Андрей Белый и Макс Волошин. Отсюда их мифотворческий христианствующий гностицизм, соскальзывающий в игру с Люцифером.

Помню, в 1915 году, пробравшись из Базеля в Петербург³, Волошин повествовал с умилением, как он участвовал в постройке нового штейне-

ровского капища Goetheanum'a после того, как первоначальное здание сторело дотла от поджога⁴. Он совсем сразил меня тогда своим «герма-нофильством» (очевидно, от общения с Штейнером, сопоставлявшим немецкое Ich, с большой буквы, с первохристианским символом рыбы — Ichthus!⁵). Дела наши на фронте в то время были из рук вон плохи.

— Ну что же? — вкрадчиво улыбаясь, утешал Макс: — Всё к лучшему. Европе предстоит Рах germanica⁶...

Прошел год: разгром России, «великая бескровная»... Бывший социалист-революционер Волошин «приял» Октябрь с отвращением. Достаточно красноречивы такие его строчки:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на разных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи.
Германцев с запада, монгол с востока.
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда.

(2 ноября 1917, Коктебель)⁷

Крымская бойня двадцатого года глубоко, неизгладимо ранила поэта. Он писал: «Стал человек один другому дьявол»⁸.

Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластным — с пульей в затылке
И со штыком в животе.

(Симферополь, 1921. «Стихи о терроре»⁹)

К «Ангелу мщенья» он поставил эпитафией в 22 году — из протопopa Аввакума: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервлянит ее кровью мученической»¹⁰.

Я ограничусь этими цитатами. Можно было бы привести их множество — из книг «Демоны глухонемые» и «Стихи о терроре», выпущенных в 1923 году «Книгоиздательством Писателей в Берлине» (хоть и без согласия автора¹¹). В первые годы большевизма был на-

писан цикл стихотворений «Путями Каина», где дается чисто умозрительное истолкование великому греху не только России, но всего человечества, всех поздних веков, приведших к антибожескому рабству *у демонов машины и у демонов взрыва*, к братоубийственным войнам и революциям:

И вихрь над устьем динамитной бомбы
Стал символом разверзшихся времен.

(Последние строки «Меча»
из «Стихов о терроре») ¹²

Потому что человека, обращенного машиной из «царя вселенной в смазчика колес» ¹³, карает «древний, замурованный огонь» ¹⁴. Я напому только строфу из замечательной поэмы «Война»:

Тогда из бездны внутренних пространств
Раздался голос, возвестивший: «Время
Топтать точило ярости. За то,
Что люди демонам,
Им посланным служить,
Тела построили
И создали престолы,
За то, что гневу
Огня раскрыли волю
В разбеге жерл и в сжатости ядра...

<...>

Даю им власть над миром,
Покамест люди
Не победят их вновь,
В себе самих смилив и поборов
Гнев, жадность, своеволие, безразличие...» ¹⁵

Однако с этой темой трагической, апокалиптической гибели от измены человека своему божественному естеству перекликается тема искупления, оправдания зла во имя высшей правды. Так оправдывает Волошин и русскую революцию:

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений —
Возникнет праведная Русь.

Я за нее за всю молюсь
 И верю замыслам предвечным:
 Ее куют ударом мечным,
 Она мостится на костях,
 Она святится в ярых битвах,
 На жгущих строится мощах,
 В безумных плавится молитвах.
 («Заклинание»)¹⁶

Вот почему он, поэт, всегда — и в мечтах и в жизни — *au-dessus de la mêlée*¹⁷, или, как он раньше сказал о себе:

...я — Прохожий,
 Близкий всем, всему чужой¹⁸.

Быть выше человеческой борьбы, быть только созерцателем трагедии и вестником преображения — в этой мудрости была и сила его, и слабость. Но слабость, покорность этого мятежного демиурга переходила подчас в очень трогательное, глубоко христианское смирение. Оно вырывается у Волошина из сердца ребячливо-чистого, хоть и тронутого декадентской червоточиной, — из сердца, одержимого мукой за человека и о человеке, из сердца, готового принять и свою голгофу, если жертва нужна во искупление.

Апокалиптическому Зверю
 Вверженный в зияющую пасть,
 Павший глубже, чем возможно пасть,
 В скрежете и в смраде — верю.
 Верю в правоту верховных сил,
 Расковавших древние стихии,
 И из недр обугленной России
 Говорю: «Ты прав, что так судил!
 Надо до алмазного закала
 Прокалить всю толщу бытия,
 Если ж дров в плавильной печи мало,
 Господи! вот плоть моя!»
 (1921, Феодосия)¹⁹

В философских послереволюционных стихах Волошина, несмотря на отдельные лирические взлеты, может быть, и больше мысли, метафизической риторики и выпукло определительных слов, чем того, что собственно составляет поэзию, т. е. звучит *за* мыслью и словами. Ритмованная мудрость, а не песня во многих случаях эти стихи, так

глубоко провеянные тысячелетиями европейской средиземноморской культуры с ее эзотерической углубленностью в загадки духа и плоти, и сам Волошин кажется в наш немудрый век не то каким-то последним заблудившимся гностиком-тамплиером, не то какой-то гримасой трагической нашей современности накануне новой, неведомой судьбы... Одно несомненно: бывает в стихах Волошина «риторика» такой силы, что тут грани стираются между изреченным словом и напором вдохновенного чувства. Это уже словесное волшебство, и оно убедительней всякой надуманной мудрости.

Повторяю, Волошин-поэт оценен недостаточно и Волошин-человек недостаточно признан... Что было написано им позже 22 года — в течение целых десяти с лишним лет жизни, которые даровала ему судьба после упомянутых берлинских его книг, — жизни в своем коктебельском доме, обращенном в «Дом отдыха», куда съезжались летом писатели и артисты?.. Об этом узнавали мы только случайно, из источников часто и недостоверных.

Елена Оттобальдовна²⁰ умерла в 1920 г., тотчас после разгрома Белого Крыма (об этом — в одном из последних писем его к Марине Цветаевой), затем он женился на очень преданной ему, уже не молодой женщине; ее звали Марусей²¹. Писал он много в эти годы своего духовного цветения, хотя его стихи больше и не печатались. Всё чаще слышишь от прибывающих из России о ходивших по рукам рукописях Волошина и мелькает в мемуарах современников его имя.

В начале революции кипучей была его деятельность на юге по спасению знакомых и незнакомых ему писателей и общественных деятелей от большевистской расправы. Марина Цветаева, в конце своего истинно вдохновенного очерка «Живое о живом» («Проза», Нью-Йорк, 1953) пишет: «Макса Волошина и Революцию дам двумя словами: он спасал красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей. Знаю еще, что его стихи «Матрос» ходили в правительственных листовках на обоих фронтах, из чего вывод, что матрос его был не красный матрос, и не белый матрос, а морской матрос, черноморской матрос».

А вот рассказ Тэффи (из книжки «Воспоминания», Париж, 1931): «К весне (1918 года. — С. М.) появился в городе (Одессе. — С. М.) поэт Макс Волошин. Он был в ту пору одержим стихонеистовством. Всюду можно было видеть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям к нужным людям и читал стихи. Читал он их не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему. Иногда войдет в какую-нибудь канцелярию и пока

там надумают доложить о нем по начальству, начнет декламировать. Стихи густые, могучие, о России, о самозванце, с историческим разбегом, с пророческим уклоном. Девушки-дактило окружали его восторженной толпой, слушали, ахали и от блаженного ужаса у них пищало в носиках. Потом трещали машинки — Макс Волошин диктовал свои поэмы. Выглядывало из двери начальствующее лицо, заинтересовывалось предметом и уводило Макса к себе. Уводило и через запертую дверь доносилось густое, мерное гудение декламации. Зашел он и ко мне. Прочел две поэмы и сказал, что немедленно надо выручать поэтессу Кузьмину-Караваеву, которую арестовали (кажется, в Феодосии) по чьему-то оговору и могут расстрелять. «Вы знакомы с Гришиным-Алмазовым, просите его скорее». Кузьмину-Караваеву я немножко знала и понимала вздорность навета. «А я пойду к митрополиту, не теряя времени. Кузьмина-Караваева окончила духовную академию. Митрополит за нее заступится». Позвонила Гришину-Алмазову. Спросил: «Вы ручаетесь?». Ответила: «Да». — «В таком случае завтра же отдам распоряжение. Вы довольны?» — «Нет. Нельзя завтра. Надо сегодня и надо телеграмму. Очень уж страшно — вдруг опоздаем!» — «Ну хорошо. Пошлю телеграмму. Подчеркиваю: пошлю». Кузьмину-Караваеву освободили. Впоследствии встречала я еще на многих этапах нашего странствия (концертных гастролей. — С. М.) — в Новороссийске, в Екатеринодаре, в Ростове-на-Дону — круглый берет на крутых кудрях, разлетающую гетры, и слышала стихи... И везде он гудел во спасение кого-нибудь».

<...>

Мы знаем еще, что советчики, пусть и не печатали Волошина, но — терпели, И даже больше: не только не преследовали коктебельского мудреца, хотя он не шел ни на какие сделки с совестью, а, случалось, и подкрепляли его продовольственными посылками благодаря хлопотам Валерия Брюсова. Но Брюсов умер в октябре 1924 года... Получал ли Макс и позже какой-нибудь писательский паек? Вряд ли. Хорошо еще, что позволяли ему вольно дышать в Коктебеле, где он продолжал чувствовать себя немного хозяином: жил, окруженный друзьями и книгами, в прежней своей просторной студии. Пансионеров в коктебельском «Доме отдыха» бывало достаточно, иногда до трехсот за год. Среди них многие относились к нему дружески заботливо. Разумеется, чем могли — помогали. Но эта помощь не разрешала вопроса о средствах к существованию. Единственным его заработком была случайная продажа акварелей с видами Крыма, он рисовал их неумоимо. И то покупателями были те же пансионеры из «богатых», и эти покупки в большинстве случаев являлись замаскированным вспомоществованием. Да и много ли находилось «богатых» среди советских граждан, приезжавших погреться

в Крым, чаще всего на последние деньги... В одном из коктебельских писем Волошина, просочившихся за границу, он признается, что материально существует каким-то чудом. К тому же и здоровьем он слабел после тяжелой болезни, перенесенной в 1921 году. Было ему немногим больше пятидесяти лет, когда он стал глохнуть и слепнуть. Умер он, по-видимому, в крайней нужде.

Однако еще в 1924 году Макс приезжал в Москву и Петербург, где пробыл месяц-два, ходил по знакомым и читал свои апокалиптические поэмы. Навестил он, между прочим, и Александра Бенуа и долго с обычным пафосом читал стихи.

Бенуа рассказывал мне об этом посещении поэта. Самым удивительным, даже невероятным было то, что перед тем, в Москве, он читал те же взрывчатые, отнюдь не советфильские стихи в Кремле, в присутствии всей большевистской головки. Сам он говорил об этом со смехом. На замечание Бенуа: «Как же так? Да вас расстрелять могут!» — Волошин с неизменной своей улыбкой возразил: «Нет, ничего! Даже благодарили...»

Если бывают чудеса, то это одно из них. Осип Мандельштам — и сколько еще! — погиб за острословие куда менее взрывчатое. Очевидно, неистовому Максиму «мятеж» сходил с рук, потому что кремлевские владыки не считались с ним, прощали ему вдохновенные выпады как никому не опасное и в общем мало вразумительное чудачество.

Александр Бенуа тогда же, за чайным столом, сделал портретный набросок с Волошина, талантливый, как всё у Бенуа. Я видел этот набросок: одна голова в face. Всё тот же мне знакомый обширный, округленно-плотный, бородатый лик, буйные кудри, сжатый тонко очерченный рот. Волошин был действительно похож на скульптурные изображения Зевса или еще на одного из первых Птолемеев, Береника, как изображает его прекрасный эллинистический оригинал III века, находящийся в Кирене... По словам Бенуа, он еще не был сед, только рыжая шевелюра посветлела немного.

Умер Максимилиан Александрович восемью годами позже, 11 августа 1932 года, 59 лет от роду²². В эмигрантских газетах были некрологи. Написал о нем свои воспоминания и Бунин. Вскоре затем Марина Цветаева получила из Москвы письмо от Екатерины Алексеевны Бальмонт: «Зимой ему было очень плохо, — писала она, — он страшно задыхался. К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом решили его везти в Ессентуки. Но у него сделался грипп, осложненный эмфиземой легких, отчего он и умер в больших страданиях. Он был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень мужественно ждал конца... Похоронили его по желанию в скале, которая очертаниями напоминала голову Макса в профиль²³».

Тогда же, в 1932 году, появилась в «Последних новостях» перепечатка из «Хождения по ВУЗам» некоего Москвина, журналиста: «Встретившись с остальными под скалой, мы заговорились и незаметно забрели в восточную часть бухты Коктебеля. Знакомая, давно примелькавшаяся фигура старика в длинной толстовке, с длинной широкой и белой бородой, в широких простых брюках, в развалившихся допотопных туфлях, вышла навстречу нам из-за поворота дороги, осторожно ощупывая дорогу палкой:

— Это что за мухомор такой? — спросил я шедшего с нами журналиста И. Грозного.

Мне никто не ответил, но «Клара Цеткин» уже тархтела, обращаясь к старику:

— А! премудрый старец Волошин, наше вам пролетарское, сколько лет, сколько зим!

Грозный цыкнул на нее и оттолкнул, а сам, склонившись над ухом старика, почтительно отрекомендовался:

— Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, Грозный.

Старик прищурился, сложил руку трубочкой у уха и остановился, держа в другой руке корзинку с камнями.

Журналист, заметив мое недоумение, раздраженно шепнул:

— Вы не знаете Волошина? Когда-то гремел на всю Россию, поэт...

— Нет, не слыхал. — Что это он, морочит мне голову, что ли?

Но старик тем временем продолжал:

— Литературой сейчас не занимаюсь. Не печатают. Говорят, выжил из ума. Рисованием занимаюсь, иногда курортники что-нибудь купят, тем и живу. Да вот камешки собираем.

Вас. Вас. Зевнул с хрустом в челюстях и сказал:

— Поехали. Что с ним разговаривать...»

Эта картинка с натуры говорит за себя. Впрочем, Марина Цветаева, отметив ее в своих воспоминаниях, может быть, и верно замечает, обращаясь к тени поэта-друга: «Говорил или не говорил ты приписываемых тебе слов, так ли говорил то, что говорил, или иначе, смеялся ли ты в последний раз над глупостью, вживаясь в роль выжившего из ума старика, или просто отмахивался от назойливых вторженцев («Э! да что с ними говорить...») — рой вихревых видений: Мельник — Юродивый — Морской Дед — Мир — мистификация или самооборона, последняя игра или в последний раз мифотворчество...»

Во всяком случае Волошина крепко забыли в России. А если зоркая власть, ничего не забывавшая, не находила нужным причинять ему неприятностей, то оттого вероятно, как я сказал, что вообще считала его каким-то шутком гороховым²⁴. Когда-то в Петербурге издевались над Максом Волошиным, иначе не называли, как Вакс Колошин,

следуя в этом Саше Черному. В конце жизни он стал «мухомором» Максимилианом Максимилиановичем. Хорошо еще, что нашлись верные друзья, похоронившие его внимательно, любовно.

Между тем, Волошин — *явление* на закате российской имперской культуры. Фигура ни с какой другой не сравнимая. Пора серьезно вчитаться в его стихи. В них сверкают те пророческие зарницы, которые именно в наше время всё тревожнее свидетельствуют о надвигающейся грозе. Будем также справедливы к памяти Волошина-человека, возлюбившего Божью землю всей силой души, горевшего пламенем жалости неутолимой ко всей Божьей твари, и к праведной, и к греховной, не умевшего иногда отличать так называемую действительность от взлелеянного умом призрака, но умевшего всё прощать и верить пророчески в высший смысл всякого земного свершения.

<1949>

